



**Владимир Кочетков**

*Весной, в мае, я люблю встать рано, с восходом, и выйти в сад. Луна ещё видна, небо бледное, а если туман густой, то кажется, что оно плотно затянуто низкими тучами. Я знаю, что туман рассеется и взамен останется бездонная синь и гомон проснувшегося мира. Но это будет чуть позже. А на восходе – тишина. Ветра не слышно – он редко просыпается так рано. Спят и пчёлы – они боятся намочить крылья о капельки росы, тянут время. Лишь соловьи приветствуют восход солнца радостными бесконечными переливами, напоминая, что на Землю опять пришёл май. Хотя это и так ясно – цветут яблони.*

*Уже несколько лет подряд именно в это время я вспоминаю рассказанную мне однажды историю. С каждым годом эта история становится мне всё дороже, а события, о которых идёт речь, всё горестнее и печальнее. Наверное, оттого, что старше становлюсь, а может быть, потому, что человека, рассказавшего её, уже нет на свете.*

## Цветут яблони

\*\*\*

Районный военкомат занимал в нашем посёлке старинный двухэтажный купеческий особняк с резными каменными наличниками, балконами, широким деревянным крыльцом и многочисленными гнёздами стрижей, ютившихся под добротной железной крышей. Он находился на небольшом возвышенном месте – купцы любили ставить дома на виду. Почему его выбрали для военкомата, не знаю. Может быть, место заметное, может быть, тому была другая причина. Во всяком случае, любой, кто попадал в посёлок, обязательно проезжал мимо. Тогда, в сорок первом, этот особняк стал главным зданием посёлка. Он стал сборным пунктом. Тут формировались команды из призывников, зачитывались приказы, тут расставались.

Проводы в то лето были очень частыми, каждую неделю, а то и чаще. Иногда партия уходящих на фронт была совсем маленькой, иногда формировалась команда большая, люди собирались со всех окрестных сёл и деревень.

Так было и в тот день. Телеги катили и катили с раннего утра, стекались со всей округи. Лошадей привязывали к длинному прогону коновязи, но места не хватало – подводы забили всю площадь перед военкоматом. Приглушённый кашель, слезящиеся от едкого махорочного дыма глаза, наказания, разговоры о дождях и сенокосе – всё сбилось в одну общую кучу. Было шумно, галдёжно, словно люди хотели наговориться о привычных заботах впрок. Гармонь в обречённом исступлении выводила одну и ту же мелодию, частушки сменяли одна другую без пауз, словно это

могло оттянуть трагичный момент расставания. Мелькали в толпе лица – озабоченные, строгие, растерянные.

Люди не суетились, здесь это было как-то не принято, да и некуда было теперь торопиться. Кто-то тщательно, по-крестьянски, завязывал кисет с табаком чуть дрожащими пальцами, кто-то кормил с руки лошадь, поглаживая её шею и заботливо оправляя сбрую, а кто-то заходил в соседний дом попить чаю – в дни проводов в этом доме огромный самовар всегда пыхтел паром. Заходившие в дом люди пили чай молча, откусывая малюсенькие кусочки сахара, прислушиваясь к доносившемуся в комнату шуму с улицы, а уходя, оставляли взамен на столе мелкие медные монеты. Лишь стрижи гонялись друг за другом, беззаботно, радуясь скоплению людей и лошадей.

На крыльце появился человек в военной форме. Его появления и ждали, и боялись. Мгновенно смолкли разговоры, захлебнулась гармонь. Повисла тишина, немая и безжалостная. Военный, сглотнув комок, обвёл взглядом сгрудившуюся на площади и до последнего не верящую в происходящее людскую толпу.

– Строиться в шеренгу по четыре! – чуть хриплым и слегка дрогнувшим голосом бросил он команду, которая тут же потонула в истошном многоголосом женском вое.

Теперь уже никто не пытался скрыть ни своих чувств, ни нахлынувшего отчаяния. Женщины вцеплялись в своих мужей и сыновей, но военный шёл через толпу в центр площади, угрюмо повторяя раз за разом:



И. Левитан. Цветущие яблони



– Строиться, строиться!  
Женщины отступали перед неумолимой, словно приговор, командой, застывали на месте.

Маленькая девочка, робко приоткрыв калитку, вышла из ворот соседнего дома. Это в её обязанности входило следить, чтобы самовар всегда был кипящим во время проводов. Она слышала крики, плач и сейчас вышла на улицу разобраться в происходящем. Эти крики повторялись каждый раз, когда затапливался большой самовар, но сегодня плачущих людей было особенно много. Она смотрела и не понимала, почему взрослые плачут, словно на похоронах – ведь все живы и здоровы? Она догадывалась, что случилось что-то более страшное, чем болезнь, чем пожар, чем смерть. Но она никак не могла понять, что случилось и почему никак не прекратится этот плач.

Девочка увидела, что мужчины стали в строй, потом по команде повернулись и медленно пошли прочь от военкомата, угрюмо глядя себе под ноги. Она видела их спины, плечи, кисти рук, мелькающие в такт шагам, и не видела лиц. Лишь один из уходящих чуть вышел из строя и оглянулся – молоденький паренёк, растерянный, как нежданно потерявший гнездо птенец-сеголеток. Его взгляд скользнул по застывшей в неживом оцепенении толпе, мелькнула робкая улыбка, поднялась на прощанье рука. Но через мгновение он опять шагнул в строй, и уже невозможно было разглядеть его среди других, уходящих шаг за шагом всё дальше от военкомата, остающихся людей, простой и привычной жизни. Колонна прошагала по главной улице и свернула на перекрёстке к паромной переправе, унося с собой топот ног, запах мужского пота, мажорочного дыма и надежду на скорое возвращение, лишь медленно оседавшая пыль ещё какое-то время висела в воздухе, но вот и она медленно опустилась вниз, слегка припорошив оставленные колонной следы.

Новобранцев за рекой ожидали грузовые машины, чтобы везти на формировку. Старик-паромщик, опустив голову, молча ждал, когда люди заполнят палубу его нехитрого судна, а затем, не поднимая глаз, медленно переправил их через реку.

\*\*\*

Вот, собственно, и всё. Той маленькой девочкой была моя мама. Было ей в тот день всего пять лет. Но она почему-то очень запомнила те проводы. Мама говорила, что, провожая строй, впервые думала по-взрослому – пытаюсь и понять их, и запомнить. Вообще, это страшно, когда пятилетний человек пересчитывает крошки ещё не съеденного хлеба и понимает значение слова «похоронка».

Мама рассказывала, что в день начала войны она выбежала на улицу с куском белого калача, густо намазанного маслом и обсыпанного сахарным песком. Она ела этот хлеб, жмурясь от солнца и поглядывая на проплывающие над головой облака. Следующий кусок белого хлеба ей довелось съесть через пять лет.

Всю жизнь мама преподавала иностранные – английский и немецкий – языки в школе, но всегда как-то бледнела и внутренне напрягалась, когда слышала на улице тех крупных городов, где нам приходилось бывать, немецкую речь.

– Не могу ни видеть их, ни слышать, – говорила она. – Всё понимаю: и люди – не те, и время то давно ушло, но всё равно – не могу.

Ещё мама рассказывала о женщине, которая отправилась на фронт мужа и обоих своих сыновей. Три похоронки пришли через два месяца, почти одновременно – из тех, кто ушёл в сорок первом, редко кто вернулся домой.

– Как же сердце-то выдержало? – набравшись смелости, спросила её мама потом, спустя много лет.

– Не знаю, – горько усмехнувшись, ответила та женщина. – Не разорвалось на куски сразу, зачем-то пожалела меня жизнь. Так и живу.

Я всё пытаюсь понять – коснулась ли меня та война? Могу ли я считать себя её свидетелем? По всем правилам времени, нет. Я же не ждал почтальона с надеждой и ужасом изо дня в день четыре года подряд, не умирал в двадцать лет от ран, не глядел в небо застывающими глазами, и слова в похоронке не расплывались передо мной от слёз. Да, всё это так. Но почему-то кажется мне, что и я уходил с ними от старого двухэтажного здания военкомата за поворот к парому. Уходил, чтобы никогда больше не вернуться.